
Лара Вейн
Фортуна царевны Софьи

Лара Вейн

Фортуна царевны Софьи

«Автор»
2026

Вейн Л.

Фортуна царевны Софьи / Л. Вейн — «Автор», 2026

Мне триста шестьдесят пять лет, и я ни разу в жизни не мурлыкала. Меня нашла в кремлёвском саду семилетняя царевна Софья Алексеевна, и я осталась при ней до монастыря. Меня слышат только те, кто жаждет власти: за триста лет их было двести семь. А кот Мур объяснил мне, почему именно они. И что я сама их выбрала.

© Вейн Л., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Вместо предисловия 5
Пролог. Сад 6
Часть первая. Та, которой нет 9
Глава 2. Терем 13
Глава 3. Соня и выставка 17
Глава 4. Хованщина 21
Глава 5. Фрр 26
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Лара Вейн
Фортуна царевны Софьи

Вместо предисловия

Царевна Софья Алексеевна была.

Она родилась в 1657 году, шестой из шестнадцати детей царя Алексея Михайловича. Она знала польский и латынь, читала по-гречески, писала стихи и, по словам современников, была умнее всех своих братьев. Семь лет, с 1682 по 1689 год, она правила Русским государством как регентша при двух малолетних царях — своих братьях Иване и Петре. При ней был заключён Вечный мир с Польшей и Нерчинский договор с Китаем.

В 1689 году её отстранил семнадцатилетний Пётр. Её заключили в Новодевичий монастырь. После стрелецкого розыска 1698 года её постригли в монахини под именем Сусанны. Она умерла в 1704 году, сорока шести лет, и лежит в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.

В Петропавловском соборе, где с 1715 года погребают русских государей и их семьи, её нет.

Через пятьдесят восемь лет после её смерти на русский престол взошла немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, не имевшая на него никаких прав. Её назвали Екатериной Второй и Великой, и так называют до сих пор.

Всё остальное в этой книге придумано: кошки, разговоры, подьячий Сытин, Институт практик управления и все его слушатели, механик Литейного моста и его Кнопка.

Коты не переворачивают государств. Это делают люди, и они делают это сами.

А кошка может только прийти ночью к тому, кто уже всё решил, и сказать, что он не один.

Автор благодарит читателя, который дочитает до последней строки. Там одно слово, и его ждут триста шестьдесят пять лет.

Пролог. Сад

Меня нашли.

Это первое, что я о себе знаю, и это единственное, что про меня правда. Всё остальное я сделала сама, а это со мной сделали.

Лето 1664 года, Москва, кремлёвский сад под Теремным дворцом. Мне было недель пять. Я не помню матери и не помню, как оказалась под кустом смородины у поленницы, и я давно перестала об этом думать. Я помню только, что было горячо, пахло крапивой и нагретым деревом, и что я умирала.

Умирать в пять недель легко. Это не больно. Ты просто перестаёшь хотеть открыть глаза, и мир становится ровным и тёплым, и всё.

И в эту ровность пришёл голос.

— Ой.

Это было первое человеческое слово, которое я услышала в жизни. Не «кошка», не «пошла», не «тише». Просто «ой».

Потом меня подняли.

Руки были маленькие и неумелые, и она взяла меня неправильно — под живот, свесив мне голову вниз, — и я бы завопила, если бы было чем. Но она тут же поняла, что держит неправильно, и переложила, и прижала к себе, и я оказалась у неё на груди, под подбородком, в тёмном душном углу между её рукой и шеей.

Там было слышно её сердце.

Я его слышала потом сорок лет и помню до сих пор, и если меня спросить, что такое Софья Алексеевна, я скажу: это сердце под подбородком в кремлёвском саду в июле.

* * *

Ей было семь лет.

Она была шестым ребёнком у отца и четвёртой дочерью, и это значит, что она была никто. Царевен в Московском государстве не выдавали замуж: за своих нельзя, потому что нет равных по рождению, за иноземцев нельзя, потому что вера. Царевну рожали, кормили, учили грамоте, одевали в парчу и запирали в тереме, и она жила там до смерти, и после смерти её поминали.

Таких, как она, в тереме было шесть.

Её сёстры — Евдокия, Марфа, Екатерина, Мария, Феодосия. Я их всех знала. Они были не глупые, это неправда, что они были глупые, — просто с ними никогда никто не говорил так, чтобы им было зачем отвечать.

А с Софьей говорили.

У неё был учитель. Симеон, старец из Полоцка, поэт и монах, выписанный к старшему царевичу Алексею. Царевича он учил по обязанности, а к Софье, которая села в углу слушать, он стал приходить сам. Она выучила польский за два года. Латынь за три. Она читала ему вслух и спорила с ним, и он однажды сказал при других, что из этой девицы вышел бы ум государственный, и за это ему попало.

Вот что я должна сказать сразу, чтобы потом не возвращаться.

Её не обижали. Её не морили, не били, не держали в чулане. У неё была своя светлица с печью, изукрашенной зелёными изразцами, были белые чулки и башмачки из турецкого бархата, были серебряные ложки, нянька, карлица для забавы и свой маленький огород, в котором она сажала бобы.

Ей просто сказали: тебе — ничего.

Не злобно. Не в наказание. Так же, как говорят, что зимой холодно. Тебе, Софья, ничего не будет: ни мужа, ни детей, ни земли, ни дела. Ты будешь шить, молиться и ходить на похороны. Это не твоя беда, это порядок.

И она в семь лет уже знала, что это порядок.

Поэтому, когда она подняла меня из-под смородины и прижала к себе, она не сказала «какая миленькая». Она сказала другое.

Она сказала:

— Ты моя. Больше ничья.

* * *

Имя она придумала через месяц.

Сначала меня звали никак. Нянька Марья говорила «кошка», девки говорили «подь сюда», а Софья звала меня свистом — она умела свистеть, ей было нельзя, и она от этого свистела охотнее.

А в августе Симеон принёс ей книгу с картинками.

Это была книга эмблем, латинская, с гравюрами. На каждой странице картинка и подпись, и надо было догадаться, что картинка значит. Софья их разбирала с ним вслух, и я лежала на столе между ними, потому что на столе было тепло от свечи.

И на одной странице была женщина с повязкой на глазах, стоящая на шаре.

Под ней — колесо, и на колесе четыре человека: один поднимается, один наверху, один падает, один лежит раздавленный внизу.

Софья водила по гравюре пальцем и читала по-латыни, медленно, как читают первый год.

Потом подняла голову и спросила:

— Отче, а почему у неё глаза завязаны?

И Симеон сказал — я помню его голос, он был сиплый и добрый:

— Потому, царевна, что она не смотрит, кого поднимает.

Софья посмотрела на гравюру ещё раз.

Потом на меня.

— Фортуна, — сказала она.

Нянька Марья за спиной охнула и сказала, что негоже кошку звать латинским бесовским словом, пусть будет Мурка. Софья на это даже не обернулась. Она положила руку мне на лоб — у неё была холодная ладонь, у неё всю жизнь были холодные руки, — и сказала мне, не няньке:

— Будешь Фортуна. Ты не будешь смотреть, кого поднимаешь. Ты будешь поднимать кого я скажу.

Мне было три месяца.

Я, разумеется, ничего не поняла.

Я поняла это через двадцать пять лет, в сентябре 1689 года, ночью, в Троице-Сергиевом монастыре, когда уже всё было кончено.

* * *

Дворня, конечно, звала меня Фортункой.

Истопники, девки, поварихи, караульные, конюхи — все. Фортунка, Фортунка, кыс-кыс. За триста шестьдесят пять лет меня звали Фортункой, думаю, тысяч сорок раз.

Я не прощала ни одного.

Это мелко, я знаю. Мур мне потом скажет, что это мелко, и будет прав, и мне всё равно.

Потому что Фортуна — это та, которая на шаре и с колесом. А Фортунка — это кошка под столом, которой кидают рыбью голову.

И вся моя жизнь, если её уложить в одно, — это триста шестьдесят пять лет разницы между этими двумя словами.

* * *

Теперь главное, и дальше я буду рассказывать уже по порядку.

Я слышу людей. Всех. Всегда.

Это не умение и не выбор. Я не могу это выключить, и я не выключала ни на минуту с июля 1664 года. Я слышу, что люди говорят, и слышу, когда они говорят неправду, и слышу,

что они думают в ту секунду, когда решают, сказать или не сказать. Я прожила три с половиной века в комнатах, где решалось всё, и я слышала каждое слово.

А меня слышат не все.

Меня слышат только те, кто по-настоящему хочет власти.

Не те, у кого она есть. Не те, кто о ней говорит. Не честолюбцы, которые хотят чина, денег и чтобы перед ними вставали, — таких я тоже слышу, но они меня нет. Меня слышит только тот, у кого это сидит глубже, чем всё остальное: кто ночью не спит, потому что мог бы сам, и ему не дали.

Их за триста шестьдесят пять лет было, по моему счёту, двести семь.

Первая была Софья.

И я триста шестьдесят пять лет думала, что это свойство. Такое же, как мои глаза, которые светлые, или то, что я не мурлычу.

Я никогда не мурлыкала. Ни разу, ни одного раза, ни от тепла, ни от руки, ни в саду у смородины. Я не умею. У меня этого просто нет.

Про глаза и про мурлыканье я была права.

А про то, кто меня слышит, я ошибалась триста шестьдесят пять лет, и мне это объяснил кот, которого я ненавидела дольше, чем жили все, кого я знала.

Он объяснил мне это в подземном ходу под Гатчиной, в гроте, где слова возвращаются.

И я его ударила.

Но это будет на триста шестьдесят шестом году моей жизни, а сейчас июль 1664 года, кремлёвский сад, мне пять недель, и меня несут во дворец на руках, прижав к груди, и я слышу сердце.

Я слышу его до сих пор.

Часть первая. Та, которой нет
Глава 1. Кнопка

Мрр. Я стар.

Это, если угодно, первое, что я теперь про себя говорю, и говорю я это не для жалости. Мрр. Мне триста с лишним, и я не считаю точно, потому что в начале никто не считал, а потом стало незачем.

Я не стал слабее. Мрр. Я стал внимательнее.

В сентябре двадцать девятого года я ходил по мостам.

Не потому, что я их люблю. Мрр. Я их не люблю. Я помню город без мостов, когда через Неву ходили на лодках и зимой по льду, и когда первый наплавной мост на барках наводили каждое лето и разбирали каждую осень, и Пётр был этому рад, потому что считал, что горожанину полезно уметь ходить под парусом. Мрр. Горожанин так не считал.

Я ходил по мостам потому, что меня туда позвала кошка.

* * *

Её зовут Кнопка.

Мрр. Это неправда, её зовут не Кнопка. Кошку никогда не зовут так, как её зовут люди. У неё есть своё имя, и оно пахнет сырым железом и машинным маслом, и выговорить его человеческими буквами нельзя. Мрр. Но она разрешает звать её Кнопкой, потому что её так назвал Пал Егорыч, а Пал Егорыч тринадцать лет носит ей курицу.

Она живёт в машинном зале Литейного моста.

Мрр. Это надо объяснить, потому что люди, которые ходят по мосту, не знают, что у моста есть внутренность. Они думают, что мост — это дорога. А мост — это дом.

Внизу, под проезжей частью, в бетонной толще у разводного пролёта, есть залы. Высокие, гулкие, с железными лестницами. В них стоят машины: насосы, гидравлика, шкафы с приборами, и всё это шипит, щёлкает и тёпло гудит, и ночью, когда пролёт идёт вверх, весь дом содрогается и в нём звенят стёкла в светильниках.

Мрр. Кошке там хорошо. Тепло, тихо днём, крысы есть, люди приходят только ночью и всегда одни и те же.

Она родилась там. Там же родилась её мать, и её бабка, и так до тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года, когда первая кошка этой линии пришла туда с Литейного проспекта и осталась.

Мрр. Я их всех помню. У них у всех одно и то же: белый живот, серая спина и привычка садиться ровно на решётку, из которой дует.

* * *

Кнопка позвала меня в ночь на двенадцатое сентября.

Кошки зовут не мяуканьем. Мрр. Мяуканье — это для людей, люди в кошачьем ничего не слышат, кроме мяуканья, и мы для них мяукаем, как для глухих машут руками. А между собой мы передаём иначе: через других кошек, по цепочке, от крыши к подворотне, и если в городе двести тысяч кошек, то слово идёт от Литейного до Коломны за одну ночь.

Мне передали так: «Муру. На Литейном. Кнопка. Приходи, тут вторая».

Мрр. Вот это слово — «вторая» — и подняло меня с места.

Потому что по-кошачьему «вторая» значит не «ещё одна кошка». Их в городе двести тысяч. Мрр. «Вторая» значит — ещё одна такая, как ты.

Таких, как я, за триста лет было две.

Я и Шельма.

Мрр. Про Шельму вы знаете. Моя дочь, рыжая, с белыми носочками, двести восемьдесят с лишним лет, живёт на крыше Зимнего, фыркает, и мы с ней помирились два года назад, и это стоило мне больше, чем вся моя предыдущая жизнь.

Я пришёл на Литейный в половине второго ночи.

* * *

Пал Егорыч Сипягин сидел в машинном зале на своём месте.

Шестьдесят три года. Механик разводного пролёта, тридцать лет на этом мосту, из них восемнадцать старшим. Мрр. Худой, длинный, с большими кистями и с седой щетиной, которую он бреет раз в три дня и всегда не до конца.

Он сидел на вертящемся стуле перед пультом, в вязаной кофте под спецовкой, и пил чай из термоса.

Я вошёл через лаз у кабельного ввода. Мрр. В этом доме двенадцать лазов, и Пал Егорыч знает про десять.

Кнопка лежала на тёплом кожухе насоса и смотрела на меня.

— Пришёл, — сказала она.

— Мрр. Пришёл.

— Садись туда. — Она показала мордой на второй кожух. — Там тёплое. Ты старый.

Мрр. Я сел.

* * *

Развод в ту ночь был в час сорок.

Это надо один раз увидеть, и я видел это тысячи раз и всё равно каждый раз смотрю. Мрр. Пал Егорыч ставит кружку. Снимает колпачок с ключа. Смотрит на часы — не на приборы, на свои часы на руке, потому что он им верит больше. Говорит в трубку два слова.

И потом поворачивает.

И дом начинает идти.

Мрр. Над нами, в двух метрах бетона, поднимается железо весом в три тысячи тонн, и его поднимает масло в трубах, и весь зал заполняется низким, ровным, толстым гулом, от которого шерсть на хребте ложится сама.

Кнопка при этом всегда закрывает глаза. Мрр. Я тоже. Это приятно.

Пролёт встал. Гул кончился. Стало слышно, как в трубе где-то капает.

Пал Егорыч взял кружку и сказал в пустой зал:

— Ну вот и всё, девки.

Мрр. Он называет нас девками, хотя я кот. Он меня видит третий год и считает, что я приблудный и что я кошка. Я его не разубеждаю.

Он нас не слышит.

Мрр. Я это говорю отдельно, потому что это важно для всей моей истории. Пал Егорыч Сипягин за шестьдесят три года не захотел ни одной власти ни над одним человеком. Он тридцать лет поднимает и опускает мост, и это, если подумать, самая настоящая власть в городе: два часа в сутки он решает, кто попадёт на другой берег. Мрр. И ему это ни разу не пришло в голову.

Поэтому он меня не слышит, и поэтому он самый безопасный человек, которого я знаю.

* * *

— Говори, — сказал я Кнопке. — Мрр. Что за вторая.

Кнопка не торопилась. Мрр. Мостовые кошки все не торопятся, у них от машин такая манера.

— Третьего числа, — сказала она, — она сидела на той стороне. На Выборгской. Напротив.

— Мрр. И?

— И смотрела, как идёт пролёт.

— Мрр. На это многие смотрят.

— Два часа, — сказала Кнопка. — От развода до наводки. Не ушла. Не шевелилась. И пролёт пошёл обратно — она встала и ушла.

— Мрр. Это может быть любая кошка.

— Мур, — сказала Кнопка, — она не моргала.

Мрр. Вот тут я сел ровно.

Потому что это правда. Мрр. Это наша примета, и её не знают люди, и я о ней не говорил ни одному человеку за триста лет. Кошка моргает. Обычная кошка моргает часто и медленно и этим разговаривает: моргнул — значит, я тебя не съем.

А те, кто живёт долго, перестают.

Мрр. Я не знаю, почему. Шельма говорит, что это от привычки смотреть, как всё меняется. Я думаю, что это от того, что торопиться некуда.

Я не моргаю с восемнадцатого века. Шельма не моргает с девятнадцатого.

— Мрр. Опиши её.

— Серая, — сказала Кнопка. — Дымная. Без полос, без пятен, ровная, как зола. Шерсть короткая. Худая, но не голодная. И глаза.

— Мрр. Что глаза.

— Светлые, — сказала Кнопка. — Как вода в ведре.

Я сидел на тёплом кожухе и молчал. Мрр. Молчал я, по моему счёту, минуты три, и Кнопка меня не трогала, потому что мостовые кошки терпеливые.

— Мрр, — сказал я наконец. — Ещё что-нибудь?

Кнопка подняла голову.

— Да, — сказала она. — Самое главное. Я потому и позвала.

— Мрр. Говори.

— Я к ней подошла, — сказала Кнопка. — Четвёртого числа, днём. Она сидела под эстакадой.

— Мрр. И?

— И я с ней поздоровалась, — сказала Кнопка.

Мрр. Кошки здороваются всегда. Это не вежливость, это необходимость: две кошки на одной земле должны сразу выяснить, кто тут живёт. Это делается без слов и занимает полвздоха.

— И она ответила, — сказала Кнопка.

— Мрр. Так и должно быть.

— Нет, Мур, — сказала Кнопка. — Ты не понял. Она ответила словами.

* * *

Мрр. Я переспросил.

— Словами, — повторила Кнопка. — Она посмотрела на меня и сказала: «Здравствуй. Я тебе не помешаю, я здесь ненадолго». Вот так. Целиком. Как говорят люди.

— Мрр. И всё?

— И я ей сказала: ты откуда, — сказала Кнопка. — А она сказала: «Из города. Я из этого города дольше, чем ты».

— Мрр.

— А потом она сказала третье, и я его запомнила слово в слово, потому что мне стало холодно, — сказала Кнопка. — Она сказала: «Если здесь есть серый кот с рваным ухом, передай ему, что я его знаю».

Мрр.

Я встал с кожуха.

Мрр. Я простоял на бетонном полу машинного зала Литейного моста, наверное, с минуту, и в этой минуте было триста лет, и я ни одного из них не узнал.

— Мрр, — сказал я. — Кнопка. Она не мурлыкала?

Кнопка посмотрела на меня своими жёлтыми мостовыми глазами.

— Вот, — сказала она. — Вот. Я поэтому и не спала две ночи. Я всё думала, как тебе это сказать, чтобы ты не решил, что я выдумываю.

— Мрр. Говори.

— Мур, — сказала Кнопка. — Она вообще ничего не мурлыкала. За весь разговор. Ни разу. Ни звука. — Она помолчала. — Мур, она разговаривала со мной, и это было как будто со мной разговаривает человек, у которого шерсть.

Глава 2. Терем

Терем — это не темница.

Я повторяю это второй раз и буду повторять, потому что люди, которые в последние сто лет писали про Софью, очень любят слово «темница», и от этого она у них выходит жертвой, а она не была жертвой.

Терем — это верхний жилой ярус дворца, куда ведёт одна лестница и где живут женщины. Там светло: окна в свинцовых переплётах, в них вставлены кусочки стекла и слюды, и когда солнце, по полу идут цветные квадраты. Там тепло: печи топят из сеней, так что дыма нет. Там красиво: расписные подволоки, кованые светцы, сундуки с коваными углами, и в каждой палате образа в серебряных ризах.

И там ничего не происходит.

Вот в чём дело. Не в стенах. В том, что за двадцать пять лет в тереме не происходит ничего, кроме смертей и свадеб, и свадьбы не твои.

Я прожила там двенадцать лет, с 1664 по 1676 год, и я могу рассказать про эти двенадцать лет столько, что человеку хватило бы на жизнь, и при этом правдиво сказать, что за двенадцать лет не случилось ничего.

* * *

Распорядок был такой.

Утром заутреня. Потом есть. Потом рукоделие: шитьё, низанье жемчугом, пряденье. Потом обед, после обеда все спят, это обязательно, спят все, и я тоже, и это было самое честное время суток. Потом опять шитьё. Потом вечерня. Потом ужин. Потом снова шитьё при свечах, или сказки, или карлица Дунька кувыркалась и за это получала пряник, или девки пели.

И так двадцать пять лет.

У Софьи поверх этого было своё.

У неё были книги. Их приносил Симеон, а потом, когда он уже не мог ходить по лестнице, приносил его ученик Сильвестр, тоже монах, помоложе, с рябым лицом и очень тихий. Книги были латинские, польские и греческие, и часть из них царевне иметь не полагалось, и поэтому они лежали в сундуке под постельным бельём.

Я на них спала. Мне нравилось: холодная кожа, крепкий запах.

Софья читала ночью.

Это была её настоящая жизнь, и я была единственной, кто её видел. Все спали — сёстры, нянька, девки на полу, — а она садилась у печи со свечой, подтыкала под себя одеяло, разворачивала книгу на коленях и читала до света.

Иногда шептала вслух. Иногда записывала на обрезках бумаги и потом сжигала.

Один раз я спросила — это было уже позже, в семьдесят четвёртом, — зачем сжигать.

Она сказала:

— Потому что если найдут, скажут: девка пишет. А если девка пишет, значит, девка о себе много думает. А если девка о себе много думает, её выдадут за кого-нибудь или отдадут в монастырь, и я буду шить пелены до смерти.

Ей было семнадцать.

* * *

Теперь о том, как мы начали разговаривать.

Это случилось осенью 1666 года, мне было два года, ей девять.

Я до этого говорила с ней, как говорят кошки: прихожу, тычусь, ложусь, смотрю. Так разговаривают все кошки на свете, и у нас выходит довольно подробно, и люди зря думают, что это немота.

А в октябре в тереме умерла её сестра Евдокия. Не старшая Евдокия, а маленькая, младенец, трёх месяцев, последняя дочь, рождённая царицей Марьей Ильиничной перед смертью. Царица умерла в марте, а дитя — в октябре.

В тереме было большое горе и большой порядок: плакали, читали, носили свечи.

А ночью Софья легла, и я легла к ней, и она сказала в темноту, не мне, никому:

— Я бы умела.

И я сказала:

— Что умела?

Она не вскрикнула.

Вот это я хочу, чтобы вы поняли: она не вскрикнула и не перекрестилась. Девятилетняя девочка в 1666 году, в кремлёвском тереме, услышала, как кошка задала ей вопрос, и не испугалась.

Она только села в постели.

— Ты говоришь, — сказала она.

— Я давно говорю, — сказала я. — Ты только сейчас услышала.

Она подумала. Она всегда думала перед тем, как спросить, — у неё это было с детства, и это была её главная черта и её главная беда.

— Почему сейчас? — спросила она.

Я не знала.

Теперь знаю. Мне это объяснили в двадцать тридцатом году в гроте под Гатчиной, и я объясню здесь, чтобы дальше было понятно всё остальное.

В октябре 1666 года девятилетняя девочка впервые в жизни подумала словами: я бы умела править.

До этого она хотела читать, спорить, знать, выйти из терема. А в ту ночь, когда в тереме умер последний ребёнок её матери и в доме остались мальчики, слабые и малые, и большие тётки, и мужчины, которые всё решают, — в ту ночь она первый раз подумала то, что потом думала сорок лет.

И меня стало слышно.

* * *

Мы разговаривали двадцать пять лет.

Ночами. Шёпотом. Я лежала у неё под рукой, и мы говорили про книги, про людей, про родню, про то, кто чего хочет во дворце и кто с кем.

И вот тут выяснилось, что я полезна.

Я слышу всех. Всегда. Я лежу под столом в Крестовой палате, и мне никто не мешает, и я слышу, как боярин говорит одно, а думает в эту секунду другое. Я хожу по сеням, по переходам, по подклетям, меня пускают всюду, потому что я кошка, и за один день я узнаю больше, чем окольничий за месяц.

С девяти лет Софья знала про свой двор всё.

Не потому, что была хитра — хотя была. А потому, что у неё была я.

Это, если угодно, и есть вся правда про регентство. Люди потом писали, что царевна Софья была умна, властна и имела дар разбирать людей. Она действительно была умна и властна. А дара разбирать людей у неё не было никакого: она была доверчива и один раз в жизни ошиблась так, что это стоило ей всего.

Разбирала людей я.

Я ни разу в этом не ошиблась. Ни разу за сорок лет.

Я ошиблась один раз в другом, и об этом будет глава девятая.

* * *

О том, чего она хотела.

Я должна сказать это точно, иначе всё дальнейшее превратится в то, что про неё пишут в книжках: будто она рвалась к трону из тщеславия.

Она не рвалась к трону. В 1676 году никакого трона в её жизни не было и быть не могло, и она это знала лучше всех.

Она хотела делать.

Это разные вещи, и разницу знает любой, кто хоть раз в жизни умел что-то лучше, чем тот, кому это поручили.

Ей было девятнадцать. Она читала по-латыни Юстина и Курция, знала, чем кончались споры о престолонаследии в четырёх царствах, разбиралась в польском сейме и в договорах с Крымом, понимала, сколько стоит стрелецкий полк в год, и могла по памяти перечислить, кто из бояр с кем в родстве до третьего колена.

А рядом был её брат Фёдор, царь, пятнадцати лет, умный, книжный, добрый, с ногами, которые его не держали, — он болел с детства, его носили в возке, и он умер в двадцать лет.

И был брат Иван, тринадцати лет, тихий, слабый глазами и головой.

И был Петруша, четырёх лет, от второй жены отца, из чужой родни, бойкий, крикливый мальчишка, которого она в те годы и не замечала.

И были дядьки, свойственники, Милославские и Нарышкины, которые уже начали друг друга есть.

Она смотрела на это с девятнадцати лет и видела, что всё можно сделать иначе и лучше, и что сделать некому.

Вот что она хотела.

А трон — это уже было после. Трон — это то, что ей предложили в 1682 году люди, которым было нужно её имя, и она согласилась, потому что иначе всё делали бы без неё.

* * *

В январе 1676 года умер её отец.

Царь Алексей Михайлович, сорока семи лет. Я была в палате, когда его не стало: меня не выгнали, потому что в такие часы на кошку никто не смотрит.

Там было очень много людей и очень тихо.

Софья стояла у стены, в чёрном, с сёстрами. Ей было восемнадцать. Она не плакала, и ей это потом припомнили: мол, бесчувственная.

Она не плакала, потому что считала.

Я слышала, как она считала. Я лежала у её подола и слышала, как восемнадцатилетняя девочка в чёрном, глядя на отца, думает: Фёдору пятнадцать, он не встанет сам, значит, править будет тот, кто окажется ближе; Иван не годен; Пётр мал; значит, четыре года, и за четыре года всё решится, и решать будут дядья, и, значит, надо выйти из терема.

И в ту же ночь она вышла.

Это, кстати, настоящая историческая подробность, а не моя выдумка: при царе Фёдоре Алексеевиче сестры впервые стали появляться там, где им не полагалось. Софья ходила к брату. Сидела при докладах. Её видели в Крестовой палате. Это было против обычая, и это терпели, потому что царь был болен и ему было легче, когда рядом сестра.

Шесть лет она сидела в углу и слушала.

А я лежала у её ног и слушала то, что люди не говорили.

* * *

Я кончу эту главу тем, с чего надо было начать.

В 1676 году, когда умер отец и Софья вышла из терема, она дала мне приказ.

Это было в июне. Она в тот день первый раз просидела у брата Фёдора весь доклад, от начала до конца, и вернулась к себе поздно, и легла не сразу.

И сказала:

— Фортуна. Слушай меня внимательно.

— Слушаю.

— Никому не показывайся, — сказала она. — Никогда. Ни одной живой душе, кроме меня.

— Почему?

Софья Алексеевна, девятнадцати лет, сидела на постели в тереме Кремлёвского дворца, обхватив колени руками, и смотрела в темноту.

— Потому что если про тебя узнают, — сказала она, — тебя или убьют, или приспособят. И я не знаю, что хуже.

* * *

Я исполняю этот приказ триста шестьдесят пять лет, не нарушив ни разу.

За эти триста шестьдесят пять лет со мной разговаривали двести семь человек, и ни одному из них я не сказала о себе ничего, кроме того, что они могли услышать и так.

И я ни одного раза не подошла ни к одной кошке, которая живёт долго.

Их за три с половиной века, кроме меня, было двое.

С одной я заговорила в сентябре двадцать девятого года, на крыше Зимнего дворца, и ей двести восемьдесят четыре года, и она дочь второго.

А второго я видела за всю свою жизнь один раз, двадцать секунд, в октябре тысяча шестьсот девяносто восьмого года, в сенях Новодевичьего монастыря.

И он мне сказал одно слово.

Глава 3. Соня и выставка

Мрр. Теперь про людей.

Я живу у Сони. Мрр. Соне тридцать четыре года, её зовут Софья Андреевна Жилина, она портниха, и она единственный человек за триста лет, которому я сам, по своей воле, пришёл и остался.

Мрр. Я жил у Петра, потом у его дочерей, потом у их детей, потом у их детей, и это была служба. Я их любил, иногда очень, но я к ним приходил не сам: я приходил потому, что они были его.

А к Соне я пришёл сам.

Мрр. Это было два с лишним года назад, в мае двадцать седьмого, и как это было, вы знаете, и я не буду повторять, потому что мне неловко. Мрр. Скажу коротко: я пришёл к ней в мастерскую на Моховой, сел на раскроенный шёлк, который она три дня резала, и она мне сказала: «Слезь с подклада, зверь», и я слез, и остался.

Мастерская у неё теперь не на Моховой, а на Пушкарской, на первом этаже, с окнами во двор и с отдельным входом. Мрр. Две комнаты, стол для раскроя восемь на полтора, четыре машины, из которых две старые ножные, манекены, и пахнет шерстью, воском и утюгом.

Мрр. Я там сплю на рулоне бортовки.

* * *

Соня шьёт не платья.

То есть платья тоже, когда надо платить за мастерскую. Мрр. Но то, за что её знают, — это реконструкция.

Это значит так. Мрр. Музею нужно показать, как человек выглядел триста лет назад. Картина есть, а одежды нет, или одежда есть, но в ней уже нельзя никого показать, потому что она рассыпается от воздуха. И тогда зовут человека, который умеет сшить это заново: по описи, по картине, по сохранившемуся лоскуту, тем кроем, который был тогда, теми стежками, которые были тогда, из той ткани, которую ещё можно достать.

Мрр. Это очень редкая работа. В городе этим занимаются человек семь, и все друг друга знают, и половина друг друга терпеть не может.

Соня умеет лучше всех. Мрр. Я могу это сказать, потому что я видел тех, кого она шьёт. Я видел, как они одевались, и я видел, как у них лежала ткань, и когда Соня в двадцать восьмом году сшила для Эрмитажа реконструкцию платья императрицы Елизаветы Петровны к выставке, я подошёл к манекену и три минуты не мог отойти.

Мрр. Я помню, как Лизанька стояла в таком платье у окна в сорок шестом году и говорила: «Мурушка, скажи, не толста ли я в нём?»

Ткань лежала точно так же.

* * *

Девятого сентября двадцать девятого года Соне позвонили.

Я спал на бортовке. Мрр. Я проснулся не от звонка, а от того, как она села.

Соня слушает телефон стоя или на ходу. Мрр. Если она села — значит, случилось.

Она говорила восемь минут. Потом положила телефон на стол. Потом посмотрела на меня.

— Мур, — сказала она. — Нам дают выставку.

— Мрр.

— Большую, — сказала Соня. — На весну. Шесть костюмов. — Она взяла карандаш и стала им крутить, а это она делает, когда ей страшно. — Мур, это не Эрмитаж. Это маленький музей, и бюджета у них три копейки. Но тема...

Мрр. Я спустился с рулона и сел на край стола.

Соня со мной разговаривает. Мрр. Она меня слышит. Как так получилось, что портниха тридцати четырёх лет без капли романовской крови слышит кота, который триста лет слышен только Романовым, — это длинная история, и она в первой книге, и там всё сказано.

Мрр. Я тогда думал, что это чудо.

Теперь я знаю, что это не чудо, и знаю почему, и мне из-за этого пришлось пересмотреть триста лет своей жизни. Мрр. Но это в двадцать первой главе, в гроте, и я тогда ещё ничего не понимал.

— Говори тему, — сказал я.

Соня положила карандаш.

— «Женщины на русском троне», — сказала она.

* * *

Мрр. Я молчал.

— Шесть костюмов, — сказала Соня. — Шесть женщин. Екатерина Первая, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, Екатерина Вторая. — Она остановилась. — Это пять.

— Мрр. А шестая?

— А шестую, — сказала Соня, — они предложили мне выбрать самой.

Она посмотрела на меня.

— Мур, — сказала она. — Я два часа думала и уже выбрала. И я хочу, чтобы ты сказал, что я дура.

— Мрр. Говори.

— Софья Алексеевна, — сказала Соня.

* * *

Мрр. Я скажу сразу: я не сказал, что она дура.

Я сказал хуже. Я сказал:

— Мрр. Её не было на троне.

И Соня на меня посмотрела так, как смотрела на меня за два года три раза, и все три раза мне потом было стыдно.

— Мур, — сказала она. — Она правила семь лет.

— Мрр. Регентша.

— Мур, — сказала Соня, — Анна Леопольдовна правила год и была регентшей, и она в списке.

Мрр. Я замолчал.

— И Екатерина Первая, — сказала Соня, — не умела читать и подписывалась с трудом, и правила два года, и она в списке. А Софья Алексеевна знала четыре языка, заключила Вечный мир с Польшей, при ней подписали Нерчинский договор, и она сидела в Крестовой палате и разбирала дела семь лет. И её нет ни в одном списке, потому что её имя стоит в учебнике в одной графе со стрелецким бунтом.

Я сидел на краю раскройного стола.

Мрр. Я вам сейчас скажу неприятную вещь про себя.

Я видел Софью Алексеевну один раз в жизни.

Мрр. Один раз, двадцать секунд, в октябре тысяча шестьсот девяносто восьмого года, в Новодевичьем монастыре. Мрр. Я сидел в сенях у двери, а она прошла мимо меня туда и обратно.

И я за триста тридцать два года ни разу про неё не подумал.

Мрр. Ни разу. Она была сестра. Она была та, которая была против него. Я был его кот, я был при нём с девяносто седьмого года, когда он нашёл меня в Голландии, и всё, что было против него, для меня просто переставало существовать.

Мрр. Это не оправдание. Я кот, а не судья, и у кота всё просто: есть мой человек, и есть остальные.

Триста тридцать два года она была для меня «остальные».

— Мрр, — сказал я. — Соня.

— Что?

— Мрр. Шей.

Соня не поверила.

— Ты не будешь спорить?

— Мрр. Буду, — сказал я. — Потом. Мрр. Сначала шей.

* * *

А в ту же ночь я ушёл на Литейный мост, и Кнопка мне сказала про серую кошку, которая не моргает и не мурлычет.

Мрр. Я не связал.

Вот это я тоже говорю про себя, и мне это неприятно. Мрр. Девятого сентября человек, у которого я живу, сказал мне имя царевны Софьи. Двенадцатого сентября мостовая кошка сказала мне, что в городе есть вторая такая, как я.

И я не связал.

Мрр. Я три недели ходил по городу и искал серую кошку, и обошёл Выборгскую сторону, и Литейную часть, и Арсенальную набережную, и спрашивал у всех, у кого можно спросить.

Мрр. И ничего.

А потом, тридцатого сентября, Соня пришла домой из архива, бросила на стол папку, села на табурет, не снимая пальто, и сказала:

— Мур, её нет.

— Мрр. Кого?

— Софьи, — сказала Соня. — Мур, я была в двух архивах и в библиотеке. Я искала, как она выглядела.

Мрр. Я спустился с рулона.

— И?

— Портретов нет, — сказала Соня. — Ни одного прижизненного. Есть гравюра, где она в царском облачении с державой, и это не портрет, это пропагандный лист восемьдесят девятого года, и лицо там условное. Есть парсуна, про которую спорят, она это или не она. Есть описание иностранца, который её не видел и писал со слов. — Она загибала пальцы. — Мур, у меня есть шесть женщин. У пятерых по десять портретов, миниатюры, бюсты, у троих сохранилась подлинная одежда. А у шестой — одна сомнительная гравюра.

Она сняла, наконец, пальто.

— Я не знаю, какого цвета у неё были глаза, — сказала Соня. — Мур. Она правила семь лет, и я не знаю, какого цвета у неё были глаза.

* * *

Мрр. Той ночью я сидел на подоконнике и смотрел во двор.

Был конец сентября, холодный и чистый, и во дворе горел один фонарь над аркой.

И под фонарём, в арке, напротив нашего окна, сидела кошка.

Серая. Дымная, ровная, как зола. Худая. С очень светлыми глазами.

Мрр. Я не шевельнулся.

Она сидела в арке и смотрела мне в окно, прямо, не отводя. Мрр. И не моргала.

Я простоял так, не двигаясь, минут десять. Она тоже.

Потом она встала и пошла в арку, в темноту, и перед тем как уйти, обернулась.

И сказала.

Мрр. Это было через стекло, через двадцать метров двора, но мы, когда надо, слышим друг друга и через улицу.

Она сказала:

— Здравствуй, Мур.

И ушла.

Мрр. А я стоял на подоконнике и не мог сесть, потому что у меня была одна мысль, и эта мысль была хуже всего, что со мной случалось за триста лет.

Я этот голос узнал.

Мрр. Не вспомнил. Узнал.

Я его слышал.

Где-то. Когда-то. Очень давно. В доме, где пахло воском, кислыми щами и нагретой слюдой.

В Кремле.

Глава 4. Хованщина

Царь Фёдор Алексеевич умер двадцать седьмого апреля 1682 года, в четверг, в начале пятого часа дня.

Ему было двадцать лет.

Я была в палате. Я всегда была в палате: за восемнадцать лет я научилась входить туда, куда кошке не положено, и делала это так, что меня не замечали. Это несложно. Надо идти не вдоль стены, а посередине, не оглядываясь, с тем видом, с каким ходит тот, кому поручено. Люди не трогают того, кто идёт по делу.

Фёдор умирал три дня.

Он был книжный и тихий, он знал польский и латынь, как Софья, он писал вирши и любил лошадей, которых не мог объезжать, потому что его носили в возке. Он успел за шесть лет сделать больше, чем ему потом приписали: отменил местничество, завёл переписи, начал строить. Про него в учебниках три строчки, и это несправедливо, хотя я о нём говорю без любви: я о людях вообще говорю без любви, кроме одного человека.

В последний день, двадцать седьмого, в палате было двадцать с лишним человек: бояре, патриарх, духовник, врачи, свойственники с двух сторон.

Детей у него не осталось. Жена, Марфа Матвеевна, была замужем за ним два месяца. Сын от первой жены умер младенцем.

Значит, оставались два брата.

Иван Алексеевич, шестнадцати лет, от первой царицы, из Милославских. Слабый глазами, с косноязычием, тихий, добрый, не способный ни царствовать, ни хотеть царствовать.

И Пётр Алексеевич, девяти лет, от второй, из Нарышкиных. Здоровый, громкий, бойкий, с большими руками и привычкой перебивать.

И за каждым стояла родня.

* * *

Я расскажу про тот день подробно, потому что с него началось всё, и потому что именно в тот день меня впервые услышал чужой человек.

В четыре часа Фёдор перестал дышать.

Полагалось плакать, и плакали. Я слышала, как плачут, и я слышала, кто при этом считает, и я могу вам сказать, что из двадцати с лишним человек в палате плакали по-настоящему шестеро, а считали четырнадцать.

Потом патриарх Иоаким вышел на Красное крыльцо.

Это тоже правда и не моя выдумка: он вышел к собравшемуся народу и служилым и спросил — кому быть царём. Старшему, Ивану, или младшему, Петру. По обычаю надо было старшему. Но Иван был явно не годен, а в Московском государстве царь, который не годен, означал войну внутри дворца.

И закричали: Петру.

Кричали не все. Кричали те, кто был ближе к крыльцу, и те, кого поставили ближе к крыльцу. Так это делается и делалось всегда, и я за три с половиной века видела это восемь раз.

Девятилетнего Петра объявили царём двадцать седьмого апреля 1682 года.

А Софье было двадцать четыре.

* * *

Теперь то, чего нет в книгах.

В ту ночь Софья не спала. Она сидела у себя, в чёрном, не раздеваясь, на постели, и я лежала у её бедра, и она говорила со мной шесть часов.

Это был очень тяжёлый разговор, и я его помню весь, и я не буду его приводить целиком, потому что половина в нём — имена, которые ничего вам не скажут.

Приведу то, что скажет.

— Фортуна, — сказала она часа в три ночи. — Теперь нас съедят.

— Кого?

— Нас, — сказала она. — Милославских. Меня, Ивана, сестёр. Всех. — Она сидела прямо, как сидят, когда боятся сгорбиться. — Нарышкины вернут из ссылки Матвеева, Матвеев умный, он всё устроит. Иван останется при дворе дурачком. Сестёр разведут по монастырям. Меня — первой.

— Почему первой?

Она посмотрела на меня.

— Потому что я единственная, кто умеет читать бумаги, — сказала она.

И вот тут она произнесла то, из-за чего следующие семь лет и следующие триста сорок восемь моих.

Она сказала:

— Фортуна. Я могла бы сама.

Не «я хочу». Она никогда не говорила «я хочу». Она сказала: я могла бы сама. Я умею. Я лучше, чем все они. Мне двадцать четыре года, я прочитала больше, чем патриарх, я знаю, сколько стоит полк, и я знаю, чего хочет каждый из этих четырнадцати, которые сейчас считают в палате.

И никто, никто из них даже не подумает про меня, потому что я девка.

Я спросила — и этот вопрос был самый важный вопрос моей жизни, и я его задала в три часа ночи двадцать восьмого апреля 1682 года и не знала, что он важный:

— Что мне сделать?

Софья сказала:

— Слушай всех.

* * *

Я слушала одиннадцать дней.

И в эти одиннадцать дней я узнала одну вещь, которая мне потом триста сорок восемь лет служила вместо закона.

Люди, которые хотят власти, разговаривают ночью.

Днём они служат, кланяются, подают, молчат и соглашаются. А ночью, в своей палате, когда свеча одна и все спят, человек садится и начинает сам с собой разговаривать, и это он делает вслух, шёпотом, иногда шевеля только губами, но я слышу губы.

И вот в эти одиннадцать дней я поняла, что в Москве таких, которые разговаривают ночью сами с собой про престол, — семеро.

И седьмой был Иван Андреевич Хованский.

* * *

Про стрелецкий бунт мая 1682 года написано много и в основном верно.

Стрельцы — это постоянное войско, двадцать с лишним полков в Москве, люди служилые, с жалованьем, с дворами, с торговлишкой, с семьями. Жалованье им задерживали. Полковники их обирали и ставили на свои работы. Они подавали челобитные при Фёдоре, и челобитные гасили.

Когда царь умер и на престоле оказался девятилетний мальчик, стрельцы поняли, что сейчас можно.

Это очень простая вещь, и она не требует никаких кошек: двадцать тысяч вооружённых людей с обидой и без хозяина.

Пятнадцатого мая они вошли в Кремль.

Им сказали, что царевича Ивана задушили Нарышкины. Это была неправда, и это сказали нарочно, и кто именно сказал, до сих пор не установлено, и я вам скажу, что установить это невозможно, потому что это сказали в один день человек двадцать в двадцати местах.

Царица Наталья Кирилловна вывела на Красное крыльцо обоих: Ивана и Петра. Живых. Показала.

Это не помогло.

* * *

Я была на крыльце.

Я должна это сказать, потому что дальше в моей жизни будет много такого, где я стояла в стороне, а это я видела в двух шагах.

Я сидела под перилами Красного крыльца, в тени, между балясинами. Внизу было, по моему счёту, тысяч пять человек, с бердышами, с ружьями, в цветных кафтанах, и они были пьяные не от вина, а от того, от чего пьянеют люди, которым впервые в жизни никто не может ничего запретить.

Я видела, как Артамон Сергеевич Матвеев вышел к ним и начал говорить, и говорил хорошо, и его слушали.

Я видела, как князь Михаил Юрьевич Долгоруков крикнул на них сверху — крикнул глупо, зло, по-господски, как кричали всю его жизнь, и как кричать в ту минуту было нельзя.

И я видела, как через полвздоха после этого крика всё кончилось.

Я не буду описывать три дня, которые были потом. Там убивали людей на моих глазах, и я видела, как это делается, и я не стану это писать, потому что это читают дети.

Скажу только одно, и это важно.

За те три дня я ни одному человеку не сказала ни одного слова.

Я могла. Меня в те дни услышали бы многие — в городе в те дни было полно людей, которые разговаривали ночью сами с собой. Я могла подойти к любому и сказать ему одну фразу, и он бы её исполнил, потому что человек, с которым заговорила кошка, исполнит что угодно.

Я не подошла ни к одному.

Потому что Софья сказала мне: слушай. Она не сказала: говори.

* * *

Двадцать третьего мая стрельцы потребовали, чтобы царями были оба: Иван и Пётр. Двадцать шестого Боярская дума это утвердила: Иван первый, Пётр второй.

А двадцать девятого мая стрельцы потребовали третьего.

Они потребовали, чтобы при малолетних царях правила царевна Софья Алексеевна.

* * *

Вот здесь я должна остановиться и сказать очень ясно.

Я этого не делала.

Я триста сорок восемь лет говорила себе, что это сделала я, и я это говорила так долго и так убедительно, что сама поверила. Я в двадцать тридцатом году сказала это Муру в гроте под Гатчиной: я посадила её.

И Мур мне ответил на это одной фразой, и после этой фразы я его ударила, и это был единственный раз в моей жизни, когда я кого-то ударила.

Он сказал:

— Мрр. Не ты. Хованский.

И он был прав.

Я скажу, как было, и вы сами увидите.

* * *

Двадцать седьмого мая, вечером, я пришла к Ивану Андреевичу Хованскому.

Ему было около шестидесяти. Князь, боярин, старого рода, человек неглупый, многословный, тщеславный до дрожи и бездарный в деле: он тридцать лет служил, и его тридцать лет обходили, и каждый раз он знал, что обошли не по заслугам, и каждый раз был прав.

Стрельцы в те дни выбрали его себе в начальники Стрелецкого приказа, и он согласился за один вздох.

Он сидел в своей палате на Мясницкой, один, при двух свечах, и разговаривал сам с собой.

Я вошла и села против него на лавку.

Он меня увидел и не удивился. Я потом сто раз это наблюдала: человек, который три ночи не спит и мечтает о власти, не удивляется ничему, потому что он уже и так живёт внутри придуманного.

Он сказал:

— Ты кто?

Я сказала:

— Я кошка царевны Софьи Алексеевны.

И он — я это помню дословно, и я это помню с отвращением, потому что это была первая моя фраза, сказанная чужому человеку за восемнадцать лет, — он сказал:

— Ага.

* * *

Мы говорили часа два.

Он говорил. Я слушала и задавала вопросы.

Я задала ему за два часа, по моему счёту, девять вопросов, и все девять были одного рода:

— А что будет, если царями объявят обоих?

— А кто при них будет править, если один слаб головой, а другой мал?

— А если править будет мать младшего, где будете вы?

— А если править будет кто-то третий, кто этого третьего назовёт?

— А вас послушают?

Я не сказала ему ни разу: назови Софью.

Я спросила его: а вас послушают.

И он два часа отвечал мне, с каждой минутой громче и радостнее, что его послушают, что стрельцы за ним пойдут, что он им отец и они его зовут батюшкой, и что он знает, что надо сделать, и что он это сделает, потому что он тридцать лет видел, как всё делается не так.

А потом он сказал сам:

— Я им скажу про царевну.

И я спросила:

— Про какую?

И он сказал:

— Про Софью Алексеевну. Она умная.

* * *

Двадцать девятого мая стрельцы потребовали регентства Софьи.

Я была на том сходе — не вблизи, в стороне, под крыльцом Разрядного приказа. Там кричало человек триста, и, насколько я могла слышать, из этих трёхсот имя Софьи до того дня слышали семь или восемь.

Остальные кричали потому, что кричали передние.

Хованский в тот день ходил между ними и был счастлив.

Через четыре месяца Софья велела его казнить.

Это тоже правда, и это самая тяжёлая правда про неё: в сентябре 1682 года князя Ивана Андреевича Хованского схватили и казнили за то, что он слишком хорошо ладил со стрельцами и слишком громко об этом говорил.

Я ей ничего не сказала.

Я стояла рядом, когда она это решала, и я слышала, как она это решает, и я слышала, что она при этом думает — она думала: иначе он сделает со мной через год то, что сделал для меня в мае.

И она была права.

Я всё равно ничего не сказала.

Вот с этого дня, с сентября 1682 года, я и начала считать себя тем, чем считала себя триста сорок восемь лет: той, которая поднимает и сбрасывает.

Мне было восемнадцать.

* * *

И последнее, чем я кончу эту главу.

Когда я вышла из палаты Хованского в ночь на двадцать восьмое мая, я прошла по Мясницкой до Лубянки и села там на тумбу у чьих-то ворот.

Мне было нехорошо.

Не стыдно — стыда у меня тогда не было вовсе, он пришёл гораздо позже, и об этом будет глава двадцать четвёртая.

Мне было нехорошо потому, что я только что два часа разговаривала с человеком, и он меня слышал, и он разговаривал со мной с удовольствием, и всё это время я была ему не кошка.

Я была ему подтверждение.

Он не спросил, кто я такая, как я живу и сколько мне лет. Он за два часа не задал мне ни одного вопроса. Он говорил со мной, как говорят с зеркалом: ему нужно было, чтобы кто-то слушал и кивал.

И я тогда, сидя на тумбе на Лубянке в мае 1682 года, подумала первую свою взрослую мысль.

Я подумала: а других у меня, кажется, не будет.

Я была права на триста сорок восемь лет.

И я ошиблась, и ошибку мне показали в гроте под Гатчиной, и показал её кот, которому Софья велела никогда не показываться.

Глава 5. Фрр

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.